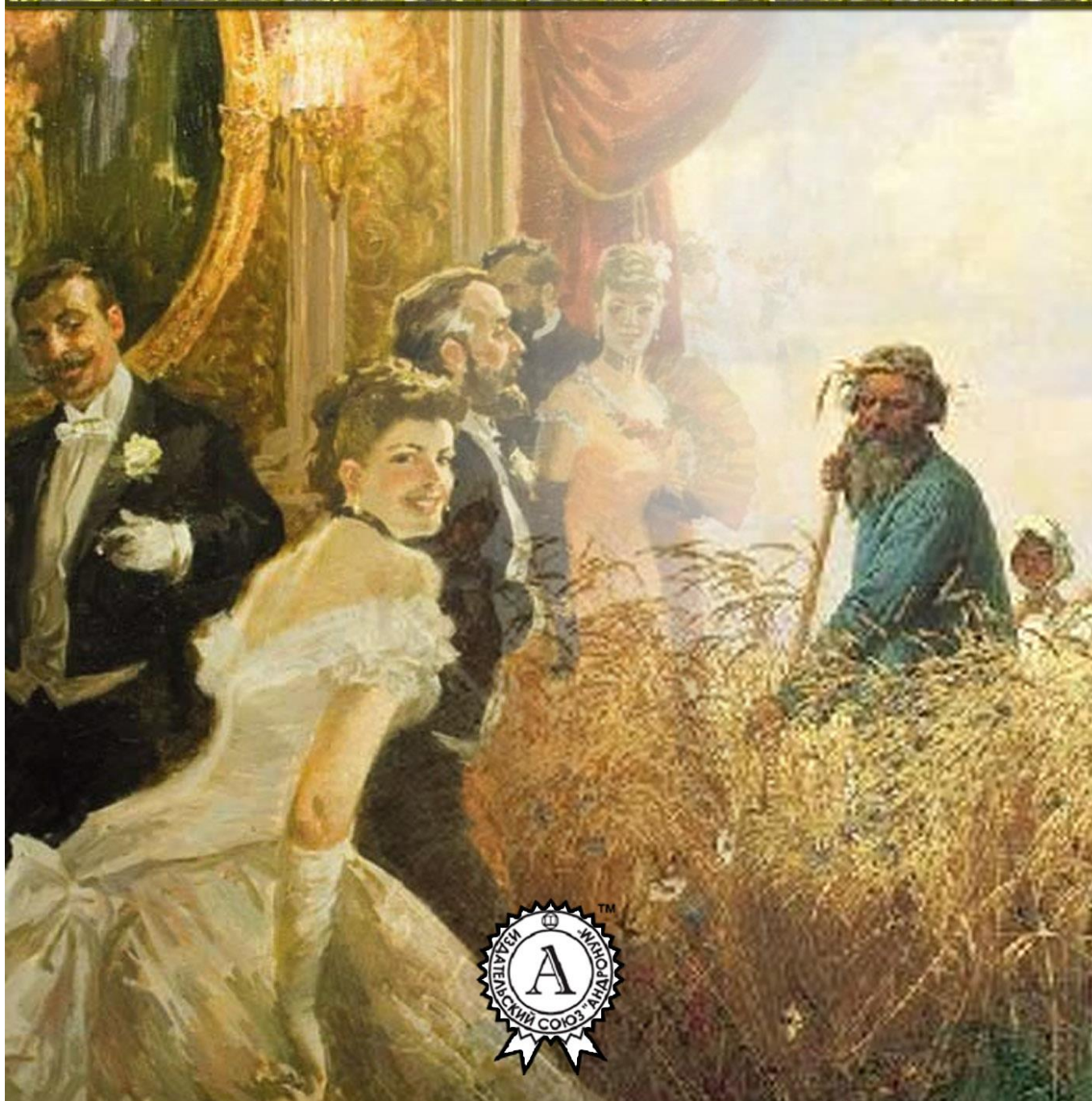


Д. В. Григорович

Пахатник и бархатник



«Пахатник и бархатник» — повесть талантливого русского писателя-реалиста Дмитрия Васильевича Григоровича (1822–1900).

В этом произведении автор сравнивает жизнь двух людей из разных социальных классов. С одной стороны — сельский пахарь Карп, который трудится с утра до ночи и все равно едва выживает, а с другой — молодой житель Петербурга Аркадий Слободской, привыкший к роскоши и светским развлечениям...

Известность Д. Григоровичу принесли произведения «Рыбаки», «Переселенцы», «Два генерала», «Гуттаперчевый мальчик», «Петербургские шарманчики», «Лотерейный бал», «Театральная карета», «Карьерист».

Дмитрий Васильевич Григорович стал знаменитым еще при жизни. Сам будучи дворянином, он прославился изображением быта крестьян и просто бедных людей.

Дмитрий Григорович ПАХАТНИК И БАРХАТНИК Повесть

Не будет пахатника, не будет и бархатника.
Русская пословица

ГЛАВА ПЕРВАЯ ПАХАТНИК

I

Такого продолжительного, нестерпимо жаркого лета не могли запомнить даже самые старые люди. С половины июня до конца июля ни разу не освежило дождем воздуха; раскаленная земля трескалась, превращалась в камень или пыль, которая лежала тяжелым рыжеватым пластом на дорогах. Каждое утро солнце восходило багровым шаром и, подымаясь выше в сверкающем, безоблачном небе, совершало свой круг, никому не давая отдохнуть от зноя. Все живущее словно умаялось и повесило голову. Цветы, не защищенные лесом или тенью рощи, пересохли; горох пожелтел преждевременно; проходя полем, слышно было, как лопались его стручья, рассыпая, словно дробь, свои зерна. Трава, скошенная утром, начинала к полудню пучиться, подымалась ворохом и звонко хрустела, когда брали ее в руки. Стада упорно жались к ручьям и речкам; во всякое время дня коровы и лошади по целым часам недвижно стояли по брюхо в воде; можно было бы принять их за окаменелых, если б не двигали они хвостами, стараясь отогнать мух и оводов, которые роями носились и жужжали в воздухе.

Во всей природе, которая как будто изнемогала и тяжело переводила дыхание, одни насекомые бодрствовали; чем горячее жарило солнце, тем больше их появлялось и тем громче раздавались жужжанье и шорох. Там, где полуиссохшие ручьи впадали в речки, роями стояли коромысла, блистая на солнце своими кисейными глянцевиными крылышками и зелеными, словно стеклянными головками; запыленные шмели и бесчисленные миллионы всяких мух и мошек облипали каждого, кто только останавливался.

В полях весь этот шелест заглушался трескотнёю кузнечиков; из-под каждой травки, из-под каждого стебелька, немолчно дребезжал тот жесткий, металлический звук, который всегда как бы дополняет впечатление страшной засухи; в сырое время кузнечик поет не так звонко. В полях часам к двум-трем пополудни зной особенно был чувствителен. Солнечные лучи, насквозь пронизывая рожь до корня, нагрели, казалось, самые стебли; даже там, в глубине колосьев, бросало в испарину; чувствовалось, что пышет от почвы, как от жерла раскаленной печки. Васильков совсем не было; они давно пересохли, оставив тощие зеленоватые стебли; одна повилика, туго оплетая подошву колосьев, разливала в воздухе тонкий миндальный запах и пестрила своими бело-розовыми колокольчиками жаркое, лучезарное сиянье, наполнявшее глубину поля.

II

Несмотря, однако ж, на удушливый зной, от которого сохло в горле и потом обливало тело, все пространство поля покрыто было народом, куда ни обращались глаза, отягченные солнечным сверканьем, всюду над морем колосьев мелькали, то опускаясь, то подымаясь, белые рубашки баб; перегнув в три погибели спину, прикрытую мокрой сорочкой, они вязали снопы; мужья их, отцы и братья выступали между тем один за другим, звонко размахивая косами.

Работа кипела; время было такое, что нельзя было ни на один час отложить покоса; благодаря жаркому июлю, едва успели откоситься и убрать сено, как рожь поспела; там совсем уже налился и созревал овес — того и смотри сыпаться станет. Изредка останавливался тот или другой работник, отирал рукавом загорелый лоб и принимался точить косу, издававшую при этом сухой, острый звук, вторивший как нельзя лучше дребезжанью кузнечиков. Изредка та или другая баба разгибала спину, оглядывалась и торопливо направлялась выпить кваску из серого кувшинчика, спрятанного в укромном месте, или шла к люльке, скрывавшей ребенка. Но едва мать успевала раскрыть холстяной полог люльки, едва припадала грудью к губам младенца, голос старосты снова призывал ее к работе.

— Эй, бабы, бабы! — покрикивал он, являясь то тут, то там, — что-то уж больно часто бегаєте! Покормили раз-другой — и шабаш! Главная причина, не надо бы вовсе таскать с собою ребятешек — вот что! Оставляли бы дома лучше старухам да бабкам!..

— Хорошо, Гаврило Леоныч, коли есть такие, — возразила молоденькая живая бабенка, — коли не на кого оставить, поневоле тащишь...

— Все же так часто бегать не приходится, — возразил староста. — Говорю: покорми раз-другой — и шабаш!.. Ну ступай, ступай, полно разговаривать!.. — довершил Гаврило Леоныч, направляясь в другую сторону.

Немного погода посреди звяканья кос и шума падающей рядами ржи голос его раздавался на дальнем конце поля.

III

В голосе этом не было, впрочем, ничего повелительного или грозного; с появлением старосты никто не бросал в его сторону боязливых взглядов. Косы, правда, начинали скорее двигаться, и бабы усерднее принимались вязать снопы, но это, очевидно, происходило не столько от страха, сколько от жалкой привычки русского простолюдина жить и действовать не иначе, как с помощью понуканья. Гаврилу слушали точно так же, как стали бы слушать любого мужика, поставленного в старосты главным управляющим.

Гаврило ничем не отличался от остальных мужиков своей деревни; он только знал счеты и разбирал грамоту; основываясь на этом, его выбрали в начальники и выдавали ему ежегодно пятнадцать рублей жалованья из главной конторы, которая находилась верстах в семидесяти, в соседнем уезде. Гаврило сильно даже скучал своею должностью; пуще всего сокрушало старосту, что, будучи сам человеком домовитым и хозяином, он принужден был поминутно отрываться от дела и ездить в контору из-за каждой безделицы, иногда даже так, безо всякой надобности. Случалось, самое нужное дело на руках, — нет, бросай все и отправляйся! Кроме того, всякий раз надо было неизбежно стоять с глазу на глаз перед управляющим, который внушал Гавриле, точно так же, как и всем, находившимся в зависимости от конторы, страх непобедимый. Короче сказать, староста готов был ежегодно приплачивать еще своих денег, лишь бы освободили его от должности; то же самое готов был сделать каждый крестьянин, принадлежавший деревне Антоновке.

Не только в нравственном отношении, но и по наружности Гаврило во всем был сходен с мужиками, работавшими в поле. Ему было лет пятьдесят; на лице его, покрытом мелкими морщинками, явно проглядывал нрав мягкий, сговорчивый и веселый. Он носил на голове шапку на манер гречишника, из-под которой с той или другой стороны всегда выглядывал кончик клетчатого платка; платок служил скорее для того, чтобы утирать лицо, чем для настоящего употребления. Выходя в поле, Гаврило постоянно вертел в руках палочку, служившую ему биркой; на ней-то надрезывал он ножом число копен, скирд, снопов и проч. Как потом мог он добраться толку и распутать на своей бирке все эти насечки, зарубки и крестики — это останется вечной неразгаданной тайной.

IV

— Ну, братцы, подкашивай, подкашивай! — понукал Гаврило, переходя от одного ряда косарей к другому, — по-настоящему, к вечеру решить бы надо!.. Вот разве бабы не успеют снопы довязать...

— Нет, сват Гаврило, нонче не управимся, — заметил коротенький кудрявый мужичок, останавливаясь, чтобы снять шапку и отереть лицо, — добре уж оченно парит; раза три махнешь косой, так инда всего тебя размочалит. Невмоготу даже...

— Не одному тебе, всем жарко!.. Ну-ка, сват, полно, бери косу-то, бери! — подхватывал Гаврило, — оттого, что жарко, оттого и откоситься скорей надобно; погоди-ка денька три, в колосе совсем ничего не останется... Эку сухмень сотворил господь!.. эку сухмень!..

— Везде сухо, везде зерно сыплется, — промолвил высокий рыжий мужик с коротенькой, крутой, кудрявой бородкой. — Вот уже третий день никто в свое поле не заглядывает! — присовокупил он, не оборачиваясь к старосте и продолжая косить, — значит, здесь справляйся, а со своим добром как знаешь, — пропадать должно!..

— Это точно, — проговорил старый мужичок, усыпанный веснушками, — хошь бы на один день ослобонили!.. Здесь хлеб уберегай, а со своим управляйся, как бог велит.

— Толкуют, точно первинку рассказывают, точно про то никто не знает! — перебил Гаврило, встряхивая шапкой, — опять-таки, я, что ли, тому причиной?.. Так велено; кто велел — сами знаете; поди-тка сладь с ним! «Чтобы все поле, говорит, на мирской магазин которое отрезано, убрать, говорит, к

воскресенью; уберут, говорит, тогда за свое пускай принимаются!» Сам обещался наведаться; сам до всего доходит. А мне что? Мое дело сторона; как велют, так и делаю...

— Надо, значит, самим идти просить в контору, — сказал рыжий мужик.

— Поди-ка сунься, — много возьмешь! — заметил Гаврило.

— Значит, — продолжал опять рыжий мужик, размахивая так сильно косою, что звон ее сделался вдруг слышнее других кос, — значит, оброк только для виду для одного; слава только: вот, дескать, на оброк отпущены! Поглядеть — выходит хуже барщины! Барщинные по крайности оброка не знают; у нас деньги оброчные отдай само собою, а там еще плетни плети вокруг садов, луга коси господские, дороги починяй; пришла пора рабочая, хоть бы вот теперича — идти бы убирать свой хлеб, — нет, сюда ступай... Дни, вишь, такие выговорили!.. Сосчитай-ка эти выговоренные дни — много ли время на свое дело останется?.. Право, барщина сходнее...

— Знамо так; Филипп правду сказывает... Это точно как есть!.. — отозвались ближайшие мужики.

— Поди-ка столкуй с управителем, поговори ему, что он тебе скажет, — произнес Гаврило с сердцем, — уж было такое дело, из других вотчин приезжали, говорили ему, — с тем и уехали! Ты свое — он свое: «знать, говорит, ничего не хочу; мое дело, говорит, было бы прежде всего исправно!..» А что насчет работы, какую теперь справляем, — продолжал рассудительна Гаврило, — надо правду сказать — браниться да жаловаться не за что: поле не господское, «мирское»¹ — стало, все единственно, для себя трудимся!

— Главная причина, дядя Гаврило, — заговорил опять мужичок с веснушками: — не ко времени работа — вот что! Этим пуще всего народ обижается; у самих хлеб сыплется, а ты здесь валандайся; оно хоть и мирское дело — а свое все жалчее упустить.

— Потому и говоришь вам: братцы, велено! как ни бейся, сделать надо; работай дружнее, не тормози рук; здесь скоро отделаемся, за свое скорей примемся... Ну, дружей, ребята, подкашивай, подкашивай — к вечеру чтобы совсем убраться!.. — подхватил Гаврило, возвышая голос и принимаясь снова ходить по полю. — Эй вы, бабы, — полно вам бесперечь к люлькам бегать!.. Ох, эти бабы пуще всего!.. Авдотья, ты никак с самого обеда торчишь у люльки, ни одного снопа не связала... Брось, говорю!.. Эки, право, ни стыда в них нет, ни совести!..

V

Во время этих разговоров с той стороны, где деревня заслонялась пологими холмами, показался мужик. С первого взгляда легко было заметить, что он не принадлежал к числу обывателей Антоновки или если принадлежал, то по каким-нибудь обстоятельствам освобожден был от работы.

Длинные ноги его, обутые в довольно плохонькие сапоги, передвигались безо всякой поспешности; он рассеянно посматривал направо и налево, время от времени посвистывал и вообще имел вид человека, который лишен всяких забот и вышел в поле единственно затем только, чтобы прогуляться. Ему было лет под сорок; рубашка его начала просвечиваться на локтях, и швы во многих местах пообсеклись; но зато подпоясан он был новым гарусным шнурком и на голове его, покрытой реденькими черными завитками, красовался совершенно новый картуз с козырьком, вроде тех, какие носят подгородные мещане и фабричные. Сам он скорее похож был на мещанина, чем на обыкновенного поселянина; несмотря на знойное лето, загар едва коснулся его лица и шеи; на лице его, довольно еще красивом, не было следа тех морщин, той загрубелости, которые преждевременно накладывает тяжелое, трудовое житье. Взгляд его, обращавшийся как-то сверху вниз — точно он считал себя значительнее всех тех, с кем встречался, — не был лишен живости, точно так же, как и остальные черты лица; в движениях заметно, однако ж, проглядывали лень, вялость, сонливость.

Человек этот не был совершенно чужим и незнакомым лицом в здешних местах; едва поровнялся он с первыми косарями, многие его окликнули:

— Федот, здорово! Откуда?

— С люблинской мельницы...

— Дело, что ли, есть?

— Да, — лаконически отвечал Федот, слегка приподымая картуз и продолжая идти далее.

Замечательно, что в голосе каждого, кто обращался к Федоту, звучала веселость; каждый почти, заговаривая с ним, прищуривал глаза и ослаблял зубы. Случалось, что иной мужичок — особенно из молодых и которые были попроще, — видя, как ослаблялись другие, схватывался попросту за бока и громко

¹ Мирским полем называется часть земли, которая отрезывается крестьянам для посева хлеба, поступающего потом в так называемые магазины. Такой запас ржи и овса делается на случай неурожая, недостатка зерен для посева. В деревнях, где существует порядок, строго наблюдают, чтобы в магазине всегда находился запас зерен, который обеспечивал бы в случае несчастья все население деревни (прим. автора).

начинал смеяться. В таких случаях Федот выше только подымал голову, весь как словно от макушки до пяток преисполнялся чувством собственного достоинства и шел мимо, сохраняя такой вид, как будто на пути попался муравей, не стоящий никакого внимания.

Приближаясь к месту, где сосредоточивалась главная деятельность и куда сошелся почти весь народ, Федот спросил, как бы найти ему дядю Карпа? Карп, оказалось, косил в числе передовых косарей и находился на дальнем конце поля. Федот медленно, как бы желая похвастать своей — неторопливостью, направился в указанную сторону. Проходя мимо подвод, которые приехали за снопами, мимо баб, вязавших снопы, и мужиков, шумевших косами, — Федот снова осведомился, где отыскать дедушку Карпа.

Признав, наконец, того, кого отыскивал, Федот встрепенулся и ускорил шаг; он словно вдруг вспомнил о чем-то; лицо его выразило озабоченность, суетливость; он пошел так скоро и начал так размахивать руками, что пот выступил на лице и даже шее; подойдя к Карпу, который продолжал усердно косить, не замечая приближающегося, Федот, и без того запыхавшийся, старался еще показать вид, что едва переводит дух от усталости.

VI

— Дядя Карп, здорово! К тебе... — озабоченным тоном проговорил Федот, снимая картуз и отирая плоский белый лоб с прилипнувшими к нему жиденькими кудрями.

— А, Федот! — воскликнул седой как лунь старичок, быстро поворачивая к Федоту сухощавое лицо, изрытое глубокими морщинами, — как ты здесь?..

— К тебе, дядя Карп... Ух, умаялся! — дай дух переведу, — сказал Федот, стараясь показать вдвое больше усталости, чем было на самом деле. — Примерно такое дело... переговорить надо...

Тут Федот нахмурил брови, покосился на стороны и, заметив, что ближайšie мужики остановились и поглядывали в его сторону, начал мигать Карпу на соседнюю ниву, где не было еще ни одного косаря.

— Говори здесь — все одно, — сказал старик.

— Нельзя, — суетливо перебил Федот, — никаким то есть манером... дело такое... Отойдем, говорю...

Он дернул старика за рукав рубахи и силою почти отвел его шагов за десять.

— Аксен Андреев прислал, — произнес он, быстро оглядываясь и как бы желая убедиться, что никто не слушает.

— Это зачем?

— Насчет избы; ты избу приторговал... Прислал: «скажи, говорит, Карпу — он тебе родственник, часто выдается, — скажи: задатку надо прибавить!..»

— Ведь я дал ему задаток, и дело совсем порешили; чего же еще? — произнес старик нетерпеливо.

— Говорит, много на избу охотников...

— Ну...

— Много очень народу избу торгуют и деньги сейчас отдают... «Коли, говорит, Карп прибавит задатку, я обожду, пожалуй, а то, говорит, несходно!» Я затем и пришел к тебе; ты, дядя, нонче же бесприменно сходи к Аксену. Он так и наказывал: сегодня переговори с ним; дело, примерно, такое, никаким манером нельзя оставить! — примолвил рассудительным тоном Федот и даже зажмурил глаза. — Избу я видел: изба знатная; и цена небольшая... упустить никак невозможно!..

Старик не слушал последних слов Федота; с досадливым, беспокойным выражением лица смотрел он в землю.

— Когда видал ты Аксена? — спросил он.

— Нынче утром, в самый обед. Как сказал он об этом — «дело такое, думаю себе, упустить нельзя; Карп Иваныч сродственник, оставить не годится», — прямо к тебе бросился...

— Как же попал ты туда, к Аксену? — спросил Карп, медленно направляясь к прежнему своему месту.

— Встретились по соседству... Я теперь на люблинской мельнице... вот уже с неделю живу в рабочих...

— Как! ты, стало, уж не на фабрике у Василья Иванова?

— Нет, рассчитался!.. Хозяева добре оченно уж зазнались... Мне здесь сходнее: хозяева — лучше быть нельзя, обходительные такие, и жалованья больше... в неделю три целковых получаю...

Карп недоверчиво покачал головою.

— Ей-богу, три целковых! — с живостью подхватил Федот.

— Ты никак на мельницах-то прежде не жывал... — промолвил Карп рассеянно.

— Как не жывал? — возразил Федот с уверенностью, — вот те раз! Перед тем как на фабрику поступил, только и работал, что на одних мельницах!.. дело привычное... все статьи примерно знаю; другой мельник того не сделает.

Хотя старик вполнину слушал Федота, но снова покачал головою.

Придя на свое место, он далеко не был так бодр и весел, как когда подошел к нему Федот; седые брови старика не оставляли нахмуренного положенья; несмотря на несколько минут отдыха, он дышал тяжелее, чем когда без усталости размахивал косою.

— Подсоби, Федот, — сказал он, — подсоби маленько, чтоб упущения не было; я тем временем дойду до снохи, кваску выпью..

— Давай, давай!.. Нам не впервые! — бойко и с величайшей готовностью проговорил Федот. — Ступай, дядя, справимся!..

Федот выпрямился, молодецки поправил картуз, поплевал в ладони и взял косу.

VII

— Никак подсобить хочешь?.. — произнес соседний мужик.

— Нам это дело в привычку! — хвастливо возразил Федот, — в наших местах — мы на Оке живем — луга такие: конца краю не видно, глазом не обведешь! Месяц целый косим: весь мир косит, а все остается верст на десять нескошенного места... так и оставляем... скот травит.

Сказав это, Федот снова поправил картуз, снова поплевал в ладонь и молодецки махнул косою; но луга косить, видно, не то, что рожь; под косою Федота жнивья осталось вдвое больше, чем следовало, и колосья, захваченные им, легли не в ряд, а раскидались на стороны. Два молодые парня, работавшие слева, громко засмеялись.

Федот повернулся к ним спиною и осмотрел косу.

— Ну, уж коса! — сказал он с усмешкою, обращаясь к мужику, который начал разговор, — диковинное дело, как только Карп управляет... Как есть ничего не берет! Дай-ка, братец ты мой, точило... Эх, была у меня коса — вот так уж точно коса! — подхватил Федот, принимаясь водить бруском по лезвию, — и теперь еще две такие же дома остались — вот так косы! Случается, найдешь на такое место — конячником заросло, — такие места есть, — махнешь косою — словно трава валится! В наших местах всё такие-то косы; по два рубля платим; этих, какими вы косите, у нас в заводе нет, впервые вижу...

— Слышь, брат, — сказал словоохотливый мужичок, — ты этак по одной-то половине не води точилом... этак совсем косу затупишь.

— Ничего, ладно, живет! — возразил Федот, возвращая ему точило.

Не поворачиваясь к двум смеявшимся парням, Федот снова принялся за работу: но дело по-прежнему не клеилось; чем больше он храбрился, чем сильнее махал косою, тем дело меньше спорилось, — выходило и криво и косо.

— А, Федот! отколь бог принес? — неожиданно спросил Гаврило.

— К Карпу за делом пришел... Он отошел кваску испить; подсобить попросил...

— Да что ты, брат, косы, что ли, в руки не брал? — сказал Гаврило. — Смотри-ка, что натворил!..

Молодые парни опять засмеялись; даже словоохотливый мужичок начал ухмыляться.

— Натворишь поневоле! — возразил Федот, тыкая с сердцем косу в землю, — вишь, у вас косы-то какие... мне не в привычку...

— А как же Карп-то косит? ведь ладно же выходит, не по-твоему!..

— Не такую мы косьбу видали! — сказал Федот тоном надменного пренебрежения, скрывавшим обиженное чувство. — В степи жить приходилось, рожь-то вдвое повыше вашей, — косили не хуже других!.. По два целковых в день получал... стало, не даром; дело свое знаем...

Он замолк, увидев приближающегося Карпа. Гаврило и соседние ребята начали было трунить над Федотом, указывая Карпу на работу его родственника; но ни Карп, ни Федот ничего не отвечали. Первый молча взял свою косу и продолжал работу, которая пошла как по маслу; второй, поправив картуз, обратился к старику и громко вымолвил:

— Приходи же, смотри, как я сказывал...

— Ладно, приду, — отвечал Карп, не поворачиваясь. Такая невнимательная выходка со стороны старика, — и еще при людях, — вконец, по-видимому, разобидела Федота; куда ни обращались глаза, он всюду встречал ухмыляющиеся лица. Помявшись с минуту на месте, как человек, который ищет угла, чтобы спрятаться, Федот вдруг повернулся спиною и, никому не поклонившись, никому не сказав слова, пустился мелким, пристыженным шажком в обратный путь.

По мере того однако ж, как удалялся он от места, где претерпел столько неудач, стан его заметно выпрямлялся — и глаза снова начали посматривать сверху вниз; проходя мимо подвод и баб, он выступал уже величественным, сдержанным шагом; дальше он начал насвистывать; еще дальше — вся фигура его приняла беззаботный вид человека, который вышел прогуляться для собственного удовольствия; наконец Федот окончательно пропал из виду.

VIII

Известие, сообщенное Федотом, сильно, казалось, встревожило старого Карпа. До того времени болтливый и разговорчивый, он впал вдруг в крайнюю несообщительность; на расспросы соседей, желавших узнать, зачем был Федот, старик отделялся, говоря, что родственник приходил безо всякой цели, а чаще всего отмалчивался. Он точно так же усердно продолжал косить, хотя уже видно было, что работа шла теперь машинально и косою водило не столько сознание, сколько привычка такого занятия. Пот лил с него ручьями; он оставался, однако ж, к этому менее прежнего чувствительным; он реже даже останавливался, чтобы дать себе отдых, остыть и порасправить спину.

Несмотря на то, что солнце совсем уже скатилось к горизонту, в поле было почти так же душно, как в полдень. Воздух, напитанный испарениями, был неподвижен; самые тонкие стебельки, приходившие в колебание без всякой видимой причины, стояли теперь, как околдованные; облако пыли, поднятое стадом, которое полчаса назад прогнали в деревню по отдаленному холму, стояло так же высоко и только постепенно меняло свой цвет, превращаясь из золотистого в багровое, по мере того как ниже опускалось солнце.

Наконец солнце скрылось.

— Дядя Карп, народ по домам пошел! — сказал соседний мужичок.

— Шабаш! — послышалось в отдалении. — Шабаш, домой! — подхватили ближайšie косари.

Карп молча подбросил косу на плечо и поднял голову.

В разных концах поля народ направлялся к деревне; то тут, то там раздавался скрип навьюченных снопами телег, которые тяжело покачивались, пробираясь по пашне.

Карп направился ускоренным шагом в надежде догнать сноху свою; но ее нигде не было; она не кормила ребенка, и как все бабы, избавленные от такой заботы, успела, вероятно, отойти очень далеко. Попадались только те бабы, которые поневоле должны были отставать, потому что еле-еле передвигали ногами, неся на спине люльку, а в руках серп и кувшинчик.

При повороте с поля на дорогу Карп встретился с Гаврилой.

— Ну, брат Карп Иваныч, разобидели мы твоего Федота, — смеясь, заговорил староста, — пошел от нас — никому даже слова не промолвил; что за человек такой уродился! Сказывают, опять переменял место; на люблинской мельнице нанялся теперь... Зачем это приходил он? Тебя, что ли, проведать?

— Эх! — произнес старик, махнув рукою.

— Разве что неладно?

— Такое дело, совсем даже в сумленье приводит; зарецкий Аксен, что лесом торгует, прислал его ко мне...

— Зачем?

— Сказывал я тебе, приторговал я у него избу, — начал Карп таким голосом, как будто у него накипело в сердце и он рад был, наконец, высказаться, — задатку взял он с меня семьдесят рублей; дело совсем сладили; теперь прислал Федота, говорит: «прибавить надо к прежнему задатку»; очень, вишь, много народу на ту избу охотятся и деньги все сейчас отдают; «несходно, говорит, ждать до осени!» Сам суди, Гаврило Леоныч, откуда взять теперь денег? Хлеб не убран, и хошь бы и убран был — все одно не время его продавать; только в убыток продашь... Вот дело какое — шут его возьми! Я третий год за избой гоняюсь; так было обрадовался; моя совсем плоха; насилу прозимовали... Коли Аксен заартачится, не знаю, право, где уж искать избу; в своей зиму никак не проживешь; вся кругом как есть промерзает... Эх, шут его возьми! скрутил он меня этим по рукам и ногам...

— Почему за избу-то просит?

— Уговор был двести тридцать рублей, совсем уж было поладили...

— Сходно; по теперешним ценам на что сходнее.

— Об том и сокрушаешься; сходнее не найти; потому больше и жаль, Гаврило Леоныч... — вымолвил старик, насупив брови.

Немного погодя сквозь сереющие сумерки открылась деревня; войдя в околицу, Карп и Гаврило расстались.

IX

Антоновка выстроена была под самым скатом, на плоской луговине, которую огибала небольшая речка: во всякое время на улице стояла топь непроходимая; только теперешнее лето могло вполне просушить ее и превратить грязь в слой пыли. Избы шли в два порядка, со множеством узеньких проулков; в глубине деревни, там, где речка делала поворот и пропадала, высоко подымалось несколько старинных ветел; дальше, за ветлами, снова шли пологие холмы, исполосованные оврагами и темными клиньями сосновых перелесков.

Изба Карпа выходила углом в проулок и на улицу; она действительно никуда больше не годилась, как в лом; бок ее, смотревший на улицу, круто выпучивался и, без сомнения, давно бы повалился, если б хозяин не позаботился подпереть его двумя осиновыми плахами; все пазы были вымазаны глиной, которая истрескалась от жары и во многих местах отвалилась. Изба была одною из самых старых в деревне; Карп, доживавший уже седьмой десяток, не помнил, когда ее ставили. Ветхость избы еще заметнее бросалась в глаза от соседства с плетнями, которые отличались плотностью, стояли прямо на толстых высоких кольях. Карп не осиливал только с избою; все остальное, что зависело от его рук и средств, смотрело как нельзя пригляднее и обличало домовитого, деятельного хозяина.

Войдя на двор, Карп встречен был бляением овец, фырканием трех лошадей и глухим чмоканьем коровы, которая в сумерках принимала вид огромного белого камня, брошенного посреди двора. Старик повесил под навес косу, вступил в темные сени, но наткнулся на кого-то и поспешно отступил на шаг.

— Ай, дедушка, чуть Ваську не уронил! — раздался тоненький голосок.

При этом на крыльцо выступила девочка лет семи, державшая на руках толстого, как пузырь, ребенка, который кряхтел и отдувался, как словно не его тащила девочка, а он нес ее на руках своих.

— А сама что под ноги лезешь! — проговорил ворчливо дедушка, входя в избу.

В избе царствовала уже тьма кромешная; от жары едва можно было переводить дух; мухи, бившиеся на потолке и в окнах, наполняли ее глухим журчаньем. Заслышав шум у печки, Карп обратился в ту сторону.

— Старуха, ужинать собирай; я чайл, все уж у вас готово...

— Сейчас, батюшка; сейчас сноха вынесет стол на крылечко; здесь пуще жарко... Нонче печь топили; новые хлебы, из новой муки пекла; мука белая, хорошая, на скус хлебы прошлогоднего лучше...

Но и это обстоятельство, всегда почти тешащее душу простолюдина, столь бедного на прихоти и радости всякого рода, не произвело никакого действия на Карпа.

Он повесил голову, вышел из избы и снова в сенях чуть было не сшиб с ног девочку, которая, вся изогнувшись на один бок, тащила толстого Ваську.

— Ох! — крикнула девочка, с трудом пятясь назад, — ох, дедушка, — Васька! Ваську чуть не уронил!..

— А ты опять под ноги лезешь!

— Что ты его взаправду все таскаешь — сядь поди с ним, Дуня! Сядь, — проговорила сноха, явившаяся на крылечко собирать ужин.

— Здорово, батюшка! — раздался голос из-под навеса, и на дворе показался рослый мужик, лицо которого невозможно было рассмотреть за темнотою.

Это был сын Карпа и муж молодой женщины, хлопотавшей с ужином. Карп лет уже семь освобожден был, за старостью, от всякой работы: он постоянно, однако ж, ходил в поле и исполнял все мирские и господские повинности; старик находил расчет работать за сына, который в это время управлялся в собственном поле или занимался дома; расчет был верен: Петр² был одним из лучших работников Антоновки.

Выйдя из-под навеса, Петр махнул рукою и погнал лошадей к воротам.

— Погоди, Петруха, — сказал старик прежде еще, чем сын коснулся ворот, — кто нынче у нас в ночном? Чей черед?

— Андрей Воробей с ребятами поедет.

— Смотри, молодого серого меринка не спутывай: он не сильно боек, не уйдет от табуна; боюсь, как спутаешь, зашибут его копытами... У Гаврилы кобыла бойкая такая, скольких уж зашибла!

— Ладно, батюшка!

Серый этот меринок дороже был Карпу всей остальной скотины; в продолжение десяти лет старику, несмотря на все старания, никак не удавалось вывести ни одной лошаденки своего завода; все или дохли, или оказывались слабыми; этот конек вознаградил его, наконец, за все неудачи: серый меринок, которому пошел уже четвертый год, удался во всех статьях; старик не мог на него нарадоваться и берег его пуще глазу.

Петр отворил ворота и вышел с лошадьми на улицу. Немного погодя он вернулся, поднялся на крыльцо и сел подле отца на лавку, которую поставила жена.

Х

— Что, как нонче день? — спросил старик.

— Ничего, батюшка, ладно; рожь совсем решил, завтра возить стану.

— Сыплется, чай?

— Сыплется, только не много; в пору захватили; умолот будет знатный!..

² Так звали сына.